

Графика
Андрей
Безукладников

Фотография
Вера
Макарова

Дизайн
Виталий
Кальпиди



П Р Е Р А Ф А Э Л И Т



КНИГА СТИХОВ

АНДРЕЯ САННИКОВА

| | |
|---|----|
| Во тьме, по вогнутому дну... | 3 |
| Седые дни. Экзема января... | 3 |
| Тёплые деревья моих костей... | 3 |
| Молитва молочных камней... | 4 |
| Прерафаэлит (кто выдернет мои следы...) | 4 |
| Идёт подводный снег... | 4 |
| Даже если ты согласишься... | 5 |
| В то время, когда на часах ещё нет и семи... | 5 |
| Мне снится медленный сон... | 5 |
| Вот дюймовые доски тоски... | 5 |
| Я не люблю о ремесле. Но две... | 6 |
| Полынь в июле юга... | 6 |
| Неимоверная тоска ночей... | 6 |
| Ветер вербы и ветви деревьев – к Иерусалиму... | 6 |
| Серебряное небо. Стomatит... | 7 |
| И медный сыр с отверстиями в сыре... | 7 |
| Этими ночами... | 7 |
| Ладони медленного ветра... | 8 |
| По всем мастерским, где художники пухнут в грязи... | 8 |
| Вот тёплый голубь плача моего... | 8 |
| И вот начинается медленное ощущение... | 9 |
| Навылет пролетает самолёт... | 9 |
| Верхом на тумане... | 9 |
| Поднимется песок к поверхности реки... | 10 |
| Нежнее ножниц стриженной бумаги... | 10 |
| Тревога – это белый гвоздь любви... | 10 |
| Где твоё Беловодье, где твой белый покой?... | 11 |
| Сухие тени, тихий сноп совы... | 11 |
| Демосфен (Что золото, что белый день...) | 12 |
| Разбитые дивизии дождей... | 12 |
| Листва осталась, но враздрай... | 12 |
| Венозная! Возница-зной... | 13 |
| Что женщина? Что она вспомнит, когда... | 13 |
| Лоботомия белены – и хлор... | 13 |
| Деревянное правило – вынь да положь... | 14 |
| Уже невмочь. Даймоний отощал... | 14 |
| Ты, как бы крадучись, идёшь к мосту... | 14 |
| Весь этот мир, как зренье навесной... | 15 |
| Идёт ли вяленая кровь... | 15 |
| С воздушной лодки мертвецы... | 16 |
| Вот город, протекающий насквозь... | 16 |
| За четыре страницы руки... | 16 |
| Батальный быт обломлен в молоко... | 17 |
| Проницающая сквозь воздух волнистая... | 17 |
| Но крылья из серебряной фольги... | 17 |
| Города поседевшего хлеба, ладони плотвы... | 18 |
| Который голос! - в самом деле... | 18 |

Во тьме, но вогнутому дну,
в съедобных снах, с лицом в занозах -
я пересек свою страну
на деревянных паровозах,

засовывая по пути
ладонь в рентгеновские реки,
глотаю горлом из горсти
пропромедленные веки,

сжимая свой язык в зубах,
перемежаясь с дождевыми,
мыча и прижимая пах
за загородкой с ножевыми -

я рассчитался с неживыми.

Седые дни. Экзема января.
Нет стёкол - в рамы клеена бумага:
от летописи до календаря,
от Рюрика до крейсера «Варяга»

с привычным ощущением вины
события сбываются привычно.
Перебираю лестницу страны,
перевираю сны косноязычно.

Всё совпадает намертво, когда
подсолнечно парча, крылаты плечи,
легка, светла, серебряна вода,
но только мне от этого не легче.

Пусти меня, измучившийся звук,
листва латыни, лето славянщины.
Кто мне закрыл глаза ладонью вдруг -
я угадал. Но это стоит жизни.

Поэзия. Экзема января.
Эпилептический припадок птичий.
Слепой, с самим собою говоря,
иглой в оконную бумагу тычет.

Тёплые деревья моих костей...
Как они ночами во мне растут!
Утро пластилиновых голубей -
белых или помнящих темноту.

Яблочный мой день. Ветер. Города.
Мой песчаный вечер. Слои слюды.
Хорошо, что медленны холода,
нежные и страшные, как сады.

Молитва молочных камней:
помилуй Господь и спаси от железных зрачков этой жизни.
Над рощей гораздо темней –
лишь светятся пепельным светом воздушные слизи.

И не прекращается вопль
граммофонный то справа то бабий то слева хрипящий.
И время открывшись как вонь
на стебле цветет мокроватой коричневой пастью.

Помилуй Господь и спаси.

Прерафаэлит

кто выдернет мои следы
из-под какой-то там слюды

из-под какой-то там воды
торчат замерзшие сады

и вертит кто-то неживой
окаменевшей головой

иди сюда иди сюда
клей силикатеп как вода

плывёт венозное пятно
на дно зелёное темно

Офелия надув живот
в руке цветки в ручье плывёт

иди сюда иди сюда
останься с нами навсегда

иду-иду иду-иду
скользя подошвами но льду

расстёгиваясь на ходу
иду-иду иду-иду

Идёт подводный снег
у мира в кинескопе.
А кинескоп-то сел.
На новый не накопим.

И вакуум зимы
так медленно зияет,
что можно всё забыть,
что можно всё оставить,

разглядывая снег,
идуший через тело.
А сердце - только хлеб.
А сердце - только слева.

Даже если ты согласишься –
никто не достигнет цели.
Волки не будут сыты.
Овцы не будут целы.

В то время, когда на часах ещё нет и семи
(о том же, о чём это время, ещё и - поосно –
ещё и - отснятый, синхронно озвученный - поезд –
но только не дочь, только Боже её сохрани!),

когда на весу на ветвях это сердце поёт –
короткое горло наполнено лёгкой водою
по-птичьей, по-жабьи (точнее!) - по-бабьи, по-вдовьи,
неостановимо! - когда этот мёрзнувший пот -

когда на листве - но к восьми - ни сладостей, ни листвы,
ни стёкол стеклянных, ни даже уже половины
восьмого - не стало - восьмого - не нужно, не видно –
ни даже уже - полвосьмого - ни даже вины.

Мне снится медленный сон.
Мир снится пористый стол.
И поднимается пар
из шевелящихся пор.

И для меня на столе
ты режешь каменный хлеб.
И из порезанных рук
сочится круглая ртуть.

Марине

Вот дюймовые доски тоски.
Их всего три-четыре доски,
но весь внешний пейзаж заколочен.
Надо втягивать внутрь свой взор,
а вытягивать, как до сих пор,
нет возможности дальше и дольше.

И в глазах прорастут пятаки.
Земляное течение реки
и подземные эти деревни.
Может быть, после смерти пойму
я смертельную эту страну?
Только я в это тоже не верю.

Это позже. Пока что - жилось.
Я в закрытый свой вышел Свердловск
и, вдыхая болезненный воздух,
пересёк его за три часа.
Это было второго числа,
в марте месяце, после морозов.

... Я не люблю - о ремесле. Но две
пугающие совпадением строчки
скорее говорят не о судьбе,
а говорят о медленной отсрочке.

Обилен Бог, а на миру - страшной.
Заглянешь в этот вытянутый воздух -
щепа на птичьих крыльях у теней,
летающих парой, но как будто - порознь.

Когда на небо смотришь, то глаза
его почти не видят - будто лопасть
проносится - а разглядеть нельзя -
и помнишь только тесноту и лёгкость.

Полынь в июле юга
и пыльный тальк теней.
Луна кругла в полкруга,
желта, и свет - на ней.

Как здесь нищают ночи!
Ничком и ни за что.
И, жалуясь, бормочут,
уткнувшись мне в плечо.

Неимоверная тоска ночей.
Железный свет течёт из фонарей.

Любимая, сегодня ты - зима.
Тряси за плечи мёрзлые дома,

кричи и корчись. Звёзды, как ломы,
висят над нашим городом из тьмы.

Ветер вербы и ветви деревьев - к Иерусалиму.
Но и ворон - внимательно, внятно, но - по-воровски.
Всё идёт с расстановкой, с длиннотами пятисерийного фильма,
но, - по-видимому, - не у шубы рукав, не с руки.

Голословен мой город и стыден, как голод вечерний,
но ни трапезы ночью ни в чьей - я не помню - стране.
Но настолько, насколько себя вспоминают деревья,
наклонясь и глядя На тень на белёной стене, -

Иеру... Так как этот испуг, например, аэробен
при падении и попадании в детской внезапной игре
или при упрощённом прощании выпавшей шёлковой крови.
Иеру... Вот и утро, и город, редая, выходят к сутулой горе.

...Серебряное небо.
Стоматит.
Сквозняк посмертный
дёсны холодит.

Он обернулся
и открыл глаза:
по небу шла
некрупная звезда.

Налево –
наклоняющийся звон,
направо – дым кадильный
похорон.

А за рекой
из вытянутой тьмы
рентгеновской –
прозрачные холмы
бесчисленные.

Люди на холмах
держали свечи
в согнутых руках.

И медный сыр с отверстиями в сыре
я выкопал из сельдяной земли.
А что до рек – то их у нас четыре.
А что до городов – у нас их три.

Здесь все деревья повторяют жесты
и, если входишь утром в ровный лес, –
густые птицы, подымаясь кверху,
касаются дыханием небес.

Запотевает небо. Выйди в поле –
валун, как мёртвый, на меже глядит.
О, Господи! За что мне этот голос,
за что мне ветер веки холодит?..

Этими ночами
на небе легко:
белый отпечаток
кружки с молоком.

Тихий и холодный,
ясный и простой,
четырёхугольный
мир стоял, как стол.

Кашляющий тополь
за столом сидел.
На свои ладони,
кашляя, глядел.

Ладони медленного ветра
ложатся на плечи мои.
Он говорит мне об ответах,
он говорит о том, что мы

увидим длительное время
сквозь травянистые поля,
сквозь остывающие реки,
он говорит мне, что земля

зерниста и полупрозрачна,
а воздух порист, бел, как мел.
Латунные простые злаки
стоят в сиреневой золе.

Он говорил со мной и плакал.
Он говорил, а я незряче
и молча на него глядел.

По всем мастерским, где художники пухнут в грязи,
как дети от голода, если у взрослых есть войны –
дай руку! - и я поведу тебя. Только гляди:
я предупреждал тебя. Предупреждал тебя. Помни.

По всем городам, где катается каменный шар,
ломаю дома, обдирая железо до крови, -
нет, не закрывай глаза - я тебя предупреждал.
Я предупреждал тебя, предупреждал тебя - помни.

По рельсам нагретым, внутри поездов,
везущих тротил и дешёвое тёплое мясо –
мы будем идти, ощутимые, как длинный вздох.
Не бойся, ведь я тебя за руку взял, не пугайся.

По этой стране, мимо белых поленниц зимы,
по этой земле, по золе, пересыпанной снегом,
мы будем идти и идти, невредимы, одни,
под этим, начавшимся как бы неявно - гляди –
молочным, обильным и всё заливающим светом.

Вот тёплый голубь плача моего
глядит на город с тихого плеча.
Среди несчастных и простых домов –
просторная и внятная печаль.

А в каждом доме – круглые столы.
А в каждом доме – белый скрип дверей.
Сжигают листья и дымят костры
на каждом остывающем дворе.

И вот начинается медленное ощущение
того, что затоплен мой мир и кончается август.
Деревья захлебывающиеся, улыбаясь,
глаза закрывают. И дождь. И головокруженье.

Невидимо время моё и трудна моя повесть.
Полки мои в сумерках красными светят щитами.
Уходят к вокзалу полки и садятся на поезд,
и поезд отчаливает и плывёт под волнами.

Трудна моя повесть. И потусторонние рыбы
прозрачные тычутся ртами в оконные стёкла.
Разваливается в руке карандашный огрызок,
и рвётся бумага под ним, потому что - намокла.

Навылет пролетает самолёт
пустое небо. Выпавший пилот
как патефон о родине поёт
четыре километра напролёт.

А самолёт пропеллером мутит
как воду воздух сам себе летит
по небу мёртвых - слушая иврит -
туда где на балконе Бог стоит.

Господь возьмёт из воздуха его
пропеллер остановит у него:
«Все собрались и только одного
тебя мы ждали. Тише. Ничего».

Верхом на тумане
въезжаю в твой город,
как воспоминанье,
нашедшее повод.

Белёлая лошадь
пьёт, фыркает, рельсы.
Я рядом, на площадь,
сутулясь, уселся.

Ты вовсе не бредишь:
сняв крышу трамвая,
в котором ты едешь,
гляжу, не мигая.

Поднимется песок к поверхности реки
и вновь уйдёт на дно. И лёд покроев воду.
Все пальцы на курках, а руки коротки.
А берега реки заполнены народом.

А полынья скрипит, вихляясь на воде.
А в ближних деревнях идёт престольный праздник.
А в дальних городах, которых нет нигде,
кривая полынья кривляется с экранов.

А с птичьей высоты не видно ничего,
поскольку вместо глаз у птиц в глазницах камни.
А спутники летят. И все до одного
затворами они трясут, как кадыками.

Нежнее ножниц стриженной бумаги
Господень день над низкою землёй...
Распавшимся по сгибам ветхим взглядом
Душа глядит, невидима собой.

Гляди, душа, – обношенное тело
с нагретой цепочкой у ключиц
стоит босое. Сердце бьётся слева.
Судьбе тебя уже не различить.

Лишь лёгкий слух соломенной лодкой
плывёт по мягким водам сентября.
А голос глух. И уплотнения в стёклах
сползаются, выстраиваясь в ряд.

Тревога – это белый гвоздь любви,
который заколачивают в сердце.
Дыхание, проваливаясь сверху,
теряет очертания свои.

Любовь неназываемо страшна.
Она – как будто облучённый город.
И пахнет йодом порванное горло.
И речь мучительна и не слышна.

Где твоё Беловодье, твой белый покой?
Где поля молока, по которым ты ходишь?
Здесь зимой - алюминиевые полозья,
запах бойни над сдавленной этой зимой.

За лесами, густыми, как травы ночей,
за горами оранжевыми и густыми
есть пространства, невидимые и пустые,
где на белой воде отпечатки ступней.

Оглянись, уходя по пространствам воды,
ты увидишь, как с берега этого мира
мы глядим на тебя, но тебе не видны –
всё равно. Оглянись. Ветер движется мимо.

Что ты помнишь ещё - обо мне и о нас?
Ничего. Ты поёшь удлинённые песни,
пляшешь, плещешь в ладони - но плавно, нерезко.
Здесь зима. День становится меньше на час.

Острова в Беловодье твоём, острова.
И вздымаются в небо гусиные стаи.
И невидимая прорастает трава
сквозь следы в молоке. И следы зарастают.

Сухие тени, тихий сноп совы.
Июль. Ну, что теперь? Тепло железа –
как противень с хлебами из травы
и серой пыли. Поздно, даже если

забыть о том, что медленная ночь
уже длиннее, чем была в июне,
уже спокойнее июня. Но
как поздно здесь. Какое полнолуние.

Желта. Желта керамика луны.
Луна гудя идёт, толкая воздух.
О господи – какие сны войны.
О господи – как поздно здесь. Как поздно.

Демосфен

Что золото, что белый день,
начерченный, как иероглиф,
что вожжи ветра в гнущихся ладонях, -
вот наш квартал, где заживо живут.
Попутешествуй, - но придёшь сюда.
Плутай ли, веруй - но петля верёвкой,
вода - дверная. Вот квартал, как вывод.
Вот так войска выводят из Афгана,
переходя нагрешую реку.

Речь - речью, но мешает медный привкус.
Порезы на руках не заживают.
Квартал - кварталом. Заживо живут.
Слова - словами, но слабы, как пар
на поднесённом зеркальце карманном.
Земля болит и под землёй ползут
бульжники - мыча и оживая.

Разбитые дивизии дождей
отходят через город весь июль.
И животы торчат у тополей.
Дожди отходят на восток и юг.

Среди дождей и ты. Ты слеп. Ты дождь.
И в толпах тополей стоит она.
Ты слеп. Тебя ведут. И ты идёшь.
Кругом войным-война. Войным-война.

Листва осталась, но враздрай.
Моторы, миро, микротравмы.
Вполоборота эти травы -
подводный мир. Неровный край.

Погода гопников. Колтун.
Гортань. Стрекательные трубы.
Сюжет закручен слишком туго.
Восьмёрка. Низкий звук. Сатурн.

Подробнее всего ладонь
на развороте винной книги.
Калигула. Стекло каникул
растительное. Но не тронь.

Гляди, личина. Озирай -
бела объявленная келья.
Вращающиеся деревья.
Полупоклон. Неровный рай.

Венозная! Возница-зной
вожжами бронзовыми знает,
пересекая голос мой,
о том, что после будет с нами.

Толчками узнавая звук
лоснящийся, наклонный, жадный, –
кровь озирается из рук.
Возница меркнувший, куда мне?

Вот и спроси его спроста.
Вытягивая слух на ощупь, –
спроси его. Прощённым прощю.
Осталось досчитать до ста.

Что женщина? Что она вспомнит, когда
и воздух, который она выдыхала,
лежит на полу, как простая вода
и с выдохом слово настолько совпало, -

что всё позабылось. И женщина дверь
не приотворит, притворяясь сегодня.
Деревьё кричат, как казачие сотни,
снег смотрит в окно, улыбаясь, как зверь.

Лоботомия белены – и хлор
отбеливает так, что до костей
бельё болит, расстриженное в хор.
Стеклянные стаканы для гостей
густеют так, что ногти у кистей
(перемотай. Давай дадим повтор).

Обалтывай налево и т. д.
Вот волокнистый – заболонь – язык!
Вот волчий за полночь – (останови!) – и где?
И – далее про то же? Я отвык.

Какие части речи не срамны?
Господь не выдаст, и свинья не съест.
Инерционный двигатель страны.

(Вот поезд отъезжает, как подъезд.)

Деревянное правило - вынь да положь.
Половина - налево, другая - неправда,
половина - подлянка, вторая - под нож.
Парадиз пародийней любого парада.

Клином - клин. Но куда, выживая, ни кинь –
передачи по ящику клиноремённые.
Марсельеза ментов, перистальтика спин
и свобода - со свистом! - из вен отворённых.

Проливная профессия - книги тачать,
как холодный сапожник, кусая чернила.
Серафим шестикрыл, шестирыла - печать.
А Господь не простит, что душа шестерила.

Уже невмочь. Даймоний отощал.
«Домой, домой!» – мне сурдопереводом
сигналит он. Уйду самоотводом.
Я, как умел, прощался и прощал.

Эскадра дара наискось идёт.
Рябая жизнь колотится на плёнке.
Глотая целлулоидные локти,
мигающей воде ты смотришь в рот.

Пилоты плоти режут виражи.
Блюют литавры. Публика бликует
биноклями – какие тиражи!

Пригнись, а то опять опубликуют.

Ты, как бы крадучись, идёшь к мосту,
как бы глядишь сквозь мокрый белый хлеб
и видишь равномерный белый свет,
который вытекает в темноту.

На берегу посмертные сады,
столы, стук вилок, смех, полно гостей.
Рука полна рентгеновских костей,
река полна рентгеновской воды.

Весь этот мир, как зренье навесной,
играет без зазрения со мной.

Он увлечён игрой всерьёз своей –
ржаной землёй, корзинами дождей,
известкой белой, ямами теней
и жёлтым сквозняком из-под дверей.

Но звук подделку эту выдаёт
и в зрение поверить не даёт.

Идущий сбоку, упрощённый звук –
качающийся шорох, мёртвый стук,
свистящий шелест, крик (кривой, как крюк)
и гул гудящий (как гончарный круг).

Порой ко мне приходят голоса,
и я на них гляжу во все глаза.

Поющий женский голос, два мужских
касаются руками глаз моих
и, улыбаясь, говорят со мной
про этот мир, как зренье, навесной.

Идёт ли вяленая кровь
из-под надрезанной клеёнки?
Из-под ногтей у докторов
видны рентгеновские плёнки.

Под мышками висят ножи.
Когда я поднимаю руки –
ножи летают, как стрижи,
визжа и радуясь, как суки.

О, осень, оленина слёз!
Я ел тебя в конце охоты
на фоне длящейся пехоты,
сопровождающей обоз.

С воздушной лодки мертвецы
глядят глазами,
перегибаясь через борт,
как пламя.

Ползёт-ползёт за лодкой тень мышиная.
Стучит на небе дирижабль машиною.

А в поле роются жнецы
Серпами.
Что им чужие мертвецы
с глазами?

Тень поднимает морду вверх мышиную –
что перестал стучать своей машиною?

Ан – там и нету никого.
Ни даже неба самого.

Вот город, протекающий насквозь,
поставленный как будто наискось –
здесь окна провисают и, касаясь
стеклом асфальта, смотрят сквозь асфальт,
сквозь гравий, глину, и в такую даль
они глядят, что даже я пугаюсь.

Что даже я. Наклонные полы,
стекающие в узкие углы, -
в них гвозди, содрогаясь, рыбьей стаей
перемещаются вдоль половиц,
но сносит их куда-то вбок и вниз,
в такую даль, что даже я пугаюсь...

За четыре страницы руки,
за – но ты понимаешь ли? – даром
этот глянцевого отблеск тоски,
этот кожистый свет под ударом.

За обол, за безвольный обряд,
травяное дыханье бумаги,
за оглохший старинный парад,
за мучнистые ночью овраги –

ровный голос обидчивых рек,
говорящий подобно июлю.

Бог с тобой, я простил этот грех.
Да и ты не печалься впустую.

Батальный быт обломлен в молоко.
Ладонь латунна - ковшиком и в бликах.
И даже в лампочке, что так невысоко,
свет умиротворён, как в базиликах.

Нахимов кухни! Крымская война
победоносна! И скажи на милость,
что нам с того, что кончилась длина
и круглой пулей в череп твой скатилась?

Звук выключен. Нагревшаяся пыль
плывёт по эту сторону экрана.
И надо стать живым или слепым,
чтоб им под стать. Но ты не имешь срама.

Проницая сквозь воздух волнистый
я гляжу на молитву мою
обходящую с белым горнистом
мертвецов в облетевшем раю

нагибаясь над каждым как доктор
нажимая трубою на грудь
надувая надувшимся горлом
называя по имени вслух...

Но крылья из серебряной фольги,
но крылья из сиреневой фольги,
но птица - пустота и сухощава.
Наступит - нет, настанет ли всегда,
как ремешок часов у иногда?
Запястья - то, что слева? То, что слава?

Столбы - на них рыхла и конура.
Что голуби? - Здесь и земля бела.
Растянутые гласные на пальцах,
которые ты поднял для молитв,
как перепонки, - ветер холодит
и на руке в часах застыло масло.

Города поседевшего хлеба, ладони плотвы...
Проницаемы эти пространства, и вены набухли.
О, Никола, святитель, - нам здесь не сносить головы.
Дай хотя бы не ведать об этом ни слухом, ни духом.

О, Никола! Икон Мирликия цветёт
сквозь подсолнечный слепнувший жир деревянного зренья.
Это поздняя запись на месте Ковчега и Вод.
Это третья. Вторая - про столпотворенье.

На горбу, на гербе, на котором Екатеринбург, -
шахтный так этот ворот скрипит, будто пемзой сдирают
до доски все три слоя. Да в несколько рук.
Да собачий вальсок за стеной по соседству играют.

Который голос! - в самом деле -
кость колосится, локти злы.
Накапливаешь почерк в теле,
не подымая головы,
когда локтями лижешь стол,
то запершись и терпеливо,
то в скорожраловке на слом
слова глотая торопливо,
а то среди семьи - как отрок,
как падчерица, - за столом
глядишь за разговором в творог
и голос делаешь углом...
